

САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ

(Рассказ акселератки)

Нам задали классное сочинение на тему: «Самый счастливый день в моей жизни».

Я раскрыла тетрадь и стала думать — какой у меня был в жизни самый счастливый день? Я выбрала воскресенье — четыре месяца назад, когда мы с папой утром пошли в кино, а после этого сразу поехали к бабушке. Получилось двойное развлечение. Но наша учительница Марья Ефремовна говорит: человек бывает по-настоящему счастлив только в том случае, когда приносит людям пользу. А какая польза людям оттого, что я была в кино, а потом поехала к бабушке? Я могла бы не учитывать мнения Марьи Ефремовны, но мне надо исправить оценку в четверти. Я могла бы иметь и тройку в четверти, но тогда меня не переведут в девятый класс, а отправят в ПТУ. Марья Ефремовна предупредила, что сейчас в стране переизбыток интеллигенции и дефицит в рабочем классе, так что из нас будут создавать фонд квалифицированной рабочей силы.

Я заглянула в тетрадь своей соседки Ленки Коноваловой. Ленка строчила с невероятной скоростью и страстью. Ее самый счастливый день был тот, когда ее принимали в пионеры.

Я стала вспоминать, как нас принимали в пионеры в Музее погранвойск и мне не хватило пионерско-

го значка. Шефы и вожатые забегали, но значка так и не нашли. Я сказала: «Да ладно, ничего...» Однако настроение у меня испортилось, и я потом была невнимательна. Нас повели по музею и стали рассказывать его историю, но я ничего не запомнила, кроме того, что мы когда-то делили с японцами какую-то речку и даже разодрались. Однако до войны дело не дошло. А может, я что-то путаю. Я такие вещи вообще не запоминаю. Мне это совершенно неинтересно.

Однажды мы с мамой отвели домой пьяного ханурика. Он потерял ботинок и сидел на снегу в одном носке. Мама сказала: нельзя его бросать на улице, может, у него несчастье. Мы спросили, где он живет, и отвели его по адресу. От этого поступка была наверняка большая польза, потому что человек спал не на сугробе, а у себя дома и семья не волновалась. Но самым счастливым днем это не назовешь: ну отвели и отвели...

Я перегнулась вправо и заглянула в тетрадь Машки Гвоздевой. Она сидит впереди меня. Я там ничего не разобрала, но Машка наверняка пишет, что самый счастливый день был тот, когда у них взорвался испорченный синхрофазотрон и им дали новый. Эта Машка просто помешана на схемах и формулах. У нее выдающиеся математические способности, и она уже знает, куда будет поступать. У нее есть смысл жизни. А у меня единственное, что есть, как говорит Марья Ефремовна, — это большой словарный запас, и я легко им орудую. Поэтому мне в музыкальной школе поручают доклады о жизни и творчестве композиторов. Доклад пишет учитель по музыке, а я его зачитываю по бумажке. Например: «Бетховен — плебей, но все, что он достиг в жизни,

он достиг своим трудом...» И еще я объявляю на концертах, например: «Сонатина Клементи, играет Катя Шубина, класс педагога Рассоловского». И это звучит убедительно, потому что у меня рост, цвет лица и фирменные вещи. Цвет лица и фирма мне перешли от мамы, а рост — непонятно откуда. Я где-то читала, что в современных панельно-блочных домах, не пропускающих воздух, созданы условия, близкие к парниковым, и поэтому дети растут, как парниковые огурцы.

Машка Гвоздева, безусловно, попадет в интеллигенцию, потому что от ее мозгов гораздо больше пользы, чем от ее рук. А у меня ни рук, ни мозгов — один словарный запас. Это даже не литературные способности, просто я много знаю слов, потому что я много читаю. Это у меня от папы. Но знать много слов совершенно не обязательно. Мальчишки в нашем классе вполне обходятся шестью словами: точняк, нормалек, спокуха, не кисло, резко, структура момента. А Ленка Коновалова любую беседу поддерживает двумя предложениями: «Ну да, в общем-то...» и «Ну да, в общем-то, конечно...». И этого оказывается вполне достаточно: во-первых, дает возможность говорить собеседнику, а это всегда приятно. Во-вторых, поддерживает его сомнения. «Ну да, в общем-то...», «Ну, в общем, конечно».

Неделю назад я слышала по радио передачу о счастье. Там сказали: счастье — это когда что-то хочешь и добиваешься. А очень большое счастье — это когда что-то очень хочешь и добиваешься. Правда, потом, когда добьешься, — счастье кончается, потому что счастье — это дорога к осуществлению, а не само осуществление.

Что я хочу? Я хочу перейти в девятый класс и хочу дубленку вместо своей шубы. Она мне велика, и я в ней как в деревянном квадратном ящике. Хотя мальчишки у нас в раздевалке режут бритвой рукава и срезают пуговицы. Так что дубленку носить в школу рискованно, а больше я никуда не хожу.

А что я очень хочу? Я очень хочу перейти в девятый класс, поступить в МГУ на филологический и познакомиться с артистом К. К. Мама говорит, что в моем возрасте свойственно влюбляться в артистов. Двадцать лет назад она тоже была влюблена в одного артиста до потери пульса, и весь их класс сходил с ума. А сейчас этот артист разжирел как свинья, и просто диву даешься, что время делает с людьми.

Но мама меня не понимает, я вовсе не влюблена в К. К. Просто он играет д'Артаньяна, и так он замечательно играет, что кажется, будто К. К. — это и есть сам д'Артаньян — талантливый, неожиданный, романтический. Не то что наши мальчишки: «точняк», «нормалек» и ниже меня на два сантиметра.

Я смотрела «Мушкетеров» шесть раз. А Рита Погосян — десять раз. Ее мама работает при гостинице «Минск» и может доставать билеты куда угодно, не то что мои родители — ничего достать не могут, живут на общих основаниях.

Однажды мы с Ритой дождались К. К. после спектакля, отправились за ним следом, сели в один вагон метро и стали его разглядывать. А когда он смотрел в нашу сторону, мы тут же отводили глаза и фыркали. Рита через знакомых выяснила: К. К. женат и у него есть маленький сын. Хорошо, что сын, а не дочка, потому что девочек любят больше, а на мальчишек тратится меньше нежности, и, значит, часть души оста-

ется свободной для новой любви. У нас с К. К., правда, большая разница в возрасте — двадцать лет. Через пять лет мне будет восемнадцать, а ему тридцать восемь. Но пусть это будет его проблемой. А молодость еще никогда и никому не мешала.

Рита сказала, что К. К. — карьерист. В Америке из-за карьеры стреляют в президентов. И ничего. То есть, конечно, «чего», но еще не такие дела делаются из-за карьеры. Неизвестно — отрицательная это черта или положительная. Мой папа, например, не карьерист, но что-то большого счастья на его лице я не вижу. У него нет жизненного стимула и маленькая зарплата. Недавно я на классном часе докладывала о политической обстановке в Гондурасе. Честно сказать, какое мне дело до Гондураса, а ему до меня, но Марья Ефремовна сказала, что аполитичных не будут переводить в девятый класс. Я подготовилась как миленькая и провела политинформацию. Буду рисковать из-за Гондураса.

Ленка Коновалова перевернула страницу — написала уже половину тетради. А я все сижу и шарю в памяти своей самый счастливый день.

В передаче о счастье запомнила такую фразу: «Перспектива бессонных ночей, за штурвалом комбайна...» Может быть, комбайнер тоже был карьерист.

Вообще, если честно, мои самые счастливые дни — это когда я возвращаюсь из школы и никого нет дома. Я люблю свою маму. Она на меня не давит, не заставляет заниматься музыкой и есть с хлебом. При ней я могу делать то же самое, что и без нее. Но все-таки это — не то. Она, например, ужасно неаккуратно ставит иглу на пластинку, и через динамики разда-

ется оглушительный треск, и мне кажется, что иголка царапает мое сердце. Я спрашиваю: «Нормально ставить ты не можешь?» Она отвечает: «Я нормально ставлю». И так каждый раз.

Когда ее нет дома, в дверях записка: «Ключи под ковриком. Еда на плите. Буду в шесть. Ты дура. Целую, мама».

Я читала в газете, что Москва занимает последнее место в мире по проценту преступности. То есть Москва — самая спокойная столица в мире. И это правда. Я убедилась на собственном опыте. Если бы самый плохонький воришка-дилетант и даже просто любопытный, с дурными наклонностями человек прошел по нашей лестнице и прочитал мамину записку, то получил бы точную инструкцию, что ключи под ковриком. Открывай дверь и заходи. Еда на плите — разогревай и обедай. А хозяйева явятся в шесть. Так что можно не торопиться и даже отдохнуть в кресле с газетой, а около шести — уйти, прихватив папины джинсы, кожаный пиджак и мамину дубленку, отделанную аляскинским волком. Больше ничего ценного в нашем доме нет, потому что мы — интеллигенция и живем только на то, что зарабатываем.

Мама говорит: когда человек боится, что его обворуют, его обязательно обворуют. В жизни всегда случается именно то, чего человек боится. Поэтому никогда не надо бояться. И это точно. Если я боюсь, что меня спросят, — меня обязательно спрашивают.

Когда я выхожу из лифта и вижу записку, я радуюсь возможности жить как хочу и ни к кому не приспосабливаться. Я вхожу в дом. Ничего не разогреваю, а ем прямо со сковороды, руками и в шубе.

И стоя. Холодное — гораздо вкуснее. Горячее — отбивает вкус.

Потом я включаю проигрыватель на полную мощность и зову в гости Ленку Коновалову. Мы с ней вырываем из шкафа все мамины платья, начинаем мерить их и танцевать. Мы танцуем в длинных платьях, а ансамбль «Синяя птица» надрывается: «Не обижайся на меня, не обижайся, и не жалей, и не зови, не достучишься до любви». А в окно хлещет солнце.

Потом Ленка уходит. Я сажусь в кресло, закутываюсь в плед и читаю. Сейчас я читаю две книги: рассказы Хулио Кортасара и пьесы Александра Вампилова. Эти книги маме подарили ее подхалимы.

У Вампилова мне очень нравится: «Папа, к нам пришел гость и еще один». А папа отвечает: «Васенька, гость и еще один — это два гостя...» Я читаю и вижу перед глазами К. К., и мне бывает грустно, что все-таки он женат и у нас большая разница в возрасте.

А у Кортасара в рассказе «Конец игры» есть слова «невыразимо прекрасно». Они так действуют на меня, что я поднимаю глаза и думаю. Иногда мне кажется, что жить — невыразимо прекрасно. А иногда мне становится все неинтересно, и я спрашиваю у мамы: «А зачем люди живут?» Она говорит: «Для страданий. Страдания — это норма». А папа говорит: «Это норма для дураков. Человек создан для счастья». Мама говорит: «Ты забыл добавить: как птица для полета. И еще можешь сказать — жалость унижает человека». Папа говорит: «Конечно, унижает, потому что на жалость рассчитывают только дураки и дуры. Умные рассчитывают на себя». А мама говорит, что

жалость — это сострадание, соучастие в страдании, и на нем держится мир, и это тоже талант, который доступен немногим, даже умным.

Но спорят они редко, потому что редко видятся. Когда папа вечерами дома — мамы нет. И наоборот. Если мамы нет — папа читает газеты и смотрит по телевизору хоккей. (У нас была няня, которая не выговаривала «хоккей» и произносила «фокея».) Посмотрев «фокею», прочитав газеты, папа требует мой дневник и начинает орать на меня так, будто я глухая или нахожусь в соседней квартире, а он хочет, чтобы я услышала его через стенку. Когда папа кричит, я почему-то не боюсь, а просто хуже понимаю. Мне хочется попросить: «Не кричи, пожалуйста, говори спокойно». Но я молчу и только моргаю.

Иногда мама приходит довольно поздно, однако раньше отца. Она видит, что его дубленки нет на вешалке, и ужасно радуется. Быстро переодевается в пижаму, и мы с ней начинаем танцевать на ковре посреди комнаты, вскидывая ноги, как ненормальные, обе в пижамах и босиком. У мамы пижама в ромбик, а у меня в горошек. Мы ликуем, но шепотом, сильно разевая рты, и нам бывает невыразимо прекрасно.

А когда у мамы библиотечные дни и она целый день дома, готовит еду на несколько дней, а отца нет до позднего вечера, — вот тут-то она появляется у меня в комнате, не учитывая, что мне надо спать, а не разговаривать, и начинает из меня варить воду.

Она говорит:

— По-моему, он от нас ушел.

Я говорю:

— А как же кожаный пиджак и джинсы? Без них он не уйдет.

— Но он может прийти за ними позже.

— Глупости, — говорю я. — От меня он никуда не денется.

Однако я пугаюсь, и у меня начинает гудеть под ложечкой и щипать в носу. Я не представляю своей жизни без отца. Я скачусь на одни тройки и двойки. Я вообще брошу школу и разложусь на элементы. Я получаю хорошие оценки исключительно ради отца, чтобы ему было приятно. А мне самой хватило бы и троек. И маме тоже хватило бы. Она рассуждает так: «Три — это удовлетворительно. Значит, государство удовлетворено».

— Я с ним разведусь, — говорит мама.

— Причина?

— Он мне не помогает. Я сама зарабатываю деньги. Сама стою в очередях и сама таскаю кошелки.

— А раньше было по-другому?

— Нет. Так было всегда.

— Тогда почему ты не развелась с ним раньше, десять лет назад?

— Я хотела обеспечить тебе детство.

— Значит, когда я была маленькая и ничего не понимала, ты обеспечивала мне детство. А сейчас, когда я выросла, ты хочешь лишить меня близкого человека. Это предательство с твоей стороны.

— Ну и пусть.

— Нет, не пусть. Тогда я тоже не буду с тобой считаться.

— У тебя впереди вся жизнь. А мне тоже хочется счастья.

Я не понимаю, как можно в тридцать пять лет, имея ребенка, хотеть какого-то еще счастья для себя. Но сказать так — нетактично. И я говорю:

— А где ты видела счастливых на все сто процентов? Вон тетя Нина моложе тебя на пять лет, худее на

десять килограммов, однако без мужа живет и ездит каждый день на работу на двух видах транспорта, полтора часа в один конец. И занимается каким-то химическим машиностроением, чтобы заработать на кусок хлеба. А ты — работаешь через дорогу, любишь свою работу, все тебя уважают. Занимаешь свое место в жизни. Вот уже пятьдесят процентов. Я — удачный ребенок. Здоровый и развитый. Еще сорок пять. Ничем не болеешь — один процент. Вот тебе уже девяносто шесть процентов счастья, остается четыре процента... Но где ты видела счастливых на сто процентов? Назови хоть кого-нибудь.

Мама молчит, раздумывает — кого назвать. И в самом деле — никто не счастлив на все сто процентов. «В каждой избушке свои погремушки». Или как я где-то вычитала: «У каждого в шкафу свой труп». Но маму не утешает чужое несчастье. Она хочет свои недостающие четыре процента вместо первых пятидесяти. Сидит на моей постели и дрожит, как сирота. Я говорю:

— Ложись со мной. Я тебя присплю.

Она ложится ко мне под одеяло. Ступни у нее холодные, и она сует их мне в ноги, как эгоистка. Но я терплю. На мой глаз капает ее слеза. Я опять терплю. Я ее очень люблю. У меня даже все болит внутри от любви. Но я понимаю, что, если начать ее жалеть, она раскиснет еще больше. И я говорю:

— Поди посмотри на себя в зеркало при свете дня. Ну кому ты нужна, кроме нас с папой? Ты должна жить для нас.

Но вообще, честно сказать, я считаю: человек должен быть эгоистом. Карьерист и эгоист. Чтобы ему было хорошо. А если одному хорошо, то и другим вокруг него тоже хорошо. А если одному плохо, то

и остальным пасмурно. Так ведь не бывает, чтобы человек горел на костре, а вокруг него ближние водили хороводы.

Тихо скрипит ключ, это папа осторожно вводит ключ в замок, чтобы нас не разбудить. Потом он на цыпочках входит в прихожую, стоит какое-то время, видимо, раздевается. И так же на цыпочках идет в свою комнату, и половицы виновато поскрипывают. Как-то бабушка сказала, что папа себя не нашел. И когда он ступает на цыпочках, мне кажется — он ходит и ищет себя, не зажигая свет, заглядывая во все углы. И мне его ужасно жалко. А вдруг и я не найду себя до сорока лет и не буду знать, куда себя девать.

Заслышав папины шаги, мама успокаивается, и засыпает на моем плече, и дышит мне в щеку. Я обнимаю ее и держу как драгоценность. Я лежу и думаю: хоть бы она скорее растолстела, что ли... Я мечтаю, чтобы мои родители постарели и растолстели, тогда — кому они будут нужны, толстые и старые? Только друг другу. И мне. А сейчас они носятся колбасой, худые и в джинсах. Мне иногда кажется, что одна нога каждого из них зарыта, а другой они бегут в разные стороны. Но куда убежишь с зарытой ногой?

Между прочим, у Ленкиной мамаше вообще нет мужа, трое детей — все от разных отцов, слепая бабушка, две кошки и щенок. Однако у них в доме — шумно, хламно и весело. Может быть, потому, что Ленкиной мамаше некогда в гору глянуть. Когда у человека остается свободное время, он начинает думать. А если начать думать, обязательно до чего-нибудь додумаешься.

Однажды, год назад, на нашей улице маленький мальчишка попал под машину. Все побежали смотреть, а я побежала домой. Я тогда ужасно испугалась, но не за себя, а за моих родителей. Я и сейчас боюсь: вдруг со мной что-нибудь случится, попаду под машину или вырасту и выйду замуж? На кого я их оставляю?

И что они будут делать без меня?..

Загоруйко подошел к Марье Ефремовне и сдал тетрадь. Наверное, для него самый счастливый день будет тот, когда «битлы» снова объединятся в ансамбль. Загоруйко знает все современные зарубежные ансамбли: «Кисс», «Квин», «Бони М». А я только знаю: «Бетховен плебей...», серенаду Шумана по нотам и кое-что по слуху.

Я посмотрела на часы. Осталось шестнадцать минут. Раздумывать больше некогда, иначе мне поставят двойку, не переведут в девятый класс, и я буду токарь-наладчик или буду швея-мотористка. Швея с большим словарным запасом.

Я решила написать, как мы сажали вокруг школы деревья. Где-то я прочитала: каждый человек за свою жизнь должен посадить дерево, родить ребенка и написать книгу о времени, в котором он жил.

Я вспоминала, как тащила полное ведро чернозема, чтобы засыпать в лунку и дерево лучше прижилось. Подошел Загоруйко и предложил:

— Давай помогу.

— Обойдусь, — отказалась я и поволокла ведро дальше. Потом я высыпала землю в лунку и разжала ладони.

На ладонях был след от дужки ведра — глубокий и синий. Плечи ныли, и даже ныли кишки в животе.

— Устала, — сообщила я окружающим с трагическим достоинством.

— Так и знал! — ехидно обрадовался Загоруйко. — Сначала пижонила, а теперь хвастаться будет.

Противный этот Загоруйко. Что думает, то и говорит, хотя воспитание дано человеку именно для того, чтобы скрывать свои истинные чувства. В том случае, когда они неуместны.

Но что бы там ни было, а дерево прижилось и останется будущим поколениям. И, значит, за содержание Марья Ефремовна поставит мне пятерку, а ошибок у меня почти не бывает. У меня врожденная грамотность.

Я снова посмотрела на часы. Осталось одиннадцать минут. Я встряхнула ручкой, она у меня перьевая, а не шариковая, и принялась писать о том дне, когда мы с папой пошли утром в кино, а после поехали к бабушке. И пусть Марья Ефремовна ставит мне что хочет. Все равно ни эгоистки, ни карьеристки из меня не получится. Буду жить на общих основаниях.

Я написала, что кинокомедия была ужасно смешная, с де Фюнесом в главной роли, и мы так хохотали, что на нас даже оборачивались и кто-то постучал в мою спину согнутым пальцем, как в дверь. А у бабушки было как всегда. Мы сидели на кухне и ели очень вкусную рыбу (хотя мама утверждает, что бабушкина рыба — несоленая и пахнет аммиаком, будто ее вымачивали в моче). Но дело ведь не в еде, а в обстановке. Меня все любили и откровенно мною восхищались. И я тоже всех любила на сто процентов и тем самым приносила огромную пользу. У меня глаза папины, у папы — бабушкины — карие, бров-

ки домиком. Мы глядели друг на друга одними и теми же глазами и чувствовали одно и то же. И были как дерево: бабушка — корни, папа — ствол, а я — ветки, которые тянутся к солнцу.

И это было невыразимо прекрасно.

Конечно, это был не самый счастливый день в моей жизни. Просто счастливый. А самого счастливого дня у меня еще не было. Он у меня — впереди.

КОРРИДА

— Внимание! Мотор! Начали!

Сереза Кириллов пошел по дороге, как идет пьяный человек. Не актер, играющий пьяного. А именно пьяный: с напряженной спиной, неточными ногами.

Аникеев подумал, что Сереза успел где-то выпить с утра или не протрезвел с вечера. Это не имело значения. Шел он замечательно, и в душе Аникеева зажглись радость, веселая сосредоточенность и азарт. Должно быть, похожее чувство испытывает гончая собака, верно идущая по следу.

Аникеев махнул рукой. Ярко-красный «жигуль» хорошо взял с места. Хорошо пошел... Сейчас должен быть Серезин прыжок. Сереза должен отскочить как от удара. «Жигуль» должен проехать, не останавливаясь... Скрежет тормозов... Сереза отскакивает, но почему-то не в сторону, а вперед. Падает. Лежит лицом вниз, припав щекой к дороге. Лежит хорошо, не как актер, играющий аварию, а как сбитый машиной человек. Но почему машина остановилась? Она должна идти дальше и не сбавлять скорость... А машина стоит, и шофер положил голову на руль. Отдохнуть, что ли, решил?

Аникеев стоял, ничего не понимая, и вдруг почувствовал: что-то непостижимое разлилось в воздухе. И птицы отлетели. Он растерянно обернулся.